
Сергей Клюев
ПОД ТИФЕНБРУННОМ
роман
7
«Оно считает. Один. Два. Три.
Не говорите семь.»

Клюев Сергей
Под Тифенбрунном

https://litres.ru/74711228
SelfPub; 2026

Аннотация

Бавария, 1949 год. Тифенбрунн пытается залечить раны после войны: мужчины не вернулись, дома стоят без крыш, а по ночам взрослые говорят шёпотом.

Тринадцатилетний Курт Хофман и его друзья играют среди развалин на Кирхгассе и однажды находят заваленную дверь в старый подвал. За ней — холод, сладковатый запах и звук, похожий на чей-то тихий счёт.

Взрослые делают вид, что подземелий не существует. Но Курт всё чаще возвращается к двери. И постепенно понимает: под Тифенбрунном осталось нечто, чего война не смогла уничтожить. Нечто, что помнит прошлое, знает имена и уже заметило мальчика.

Некоторые двери лучше не открывать. Особенно те, за которыми кто-то продолжает считать.

Содержание

Часть I. Счёт 4
1. Дверь, которая считала 4
2. Учитель, который подписывал 9
3. Находка 19
4. Собака и доктор 30
Конец ознакомительного фрагмента. 35

Клюев Сергей
Под Тифенбрунном

Часть I. Счёт

1. Дверь, которая считала

Сентябрь в Тифенбрунне пах мокрым камнем и углём. Дождь шёл третий день подряд, и городок казался выцветшим, будто кто-то забыл его на подоконнике между войной и новой жизнью.

Курт Хофман стоял на Кирхгассе, засунув руки в карманы отцовской куртки. Куртка была велика на два размера, рукава пришлось подвёртывать, но мать говорила, что другого пальто до зимы не будет. Курт не спорил. В их доме вообще давно никто не спорил. Мать говорила тихо, соседи кивали, а по вечерам радио в гостиной шипело так, словно тоже боялось сказать лишнее.

— Курт! — Фриц Штайн махал ему из-за угла. — Иди сюда. Ханна нашла кое-что.

Фриц был на год младше, но выше на полголовы и всегда лез первым. Ханна Брандт, наоборот, была осторожной. Она стояла у осыпавшейся стены бывшей пекарни и смотре-

ла вниз, на тёмный провал между кирпичами.

— Я не полезу, — сказала она, когда мальчики подошли. — Там пахнет плохо.

Курт принюхался. От провала тянуло сыростью, старым деревом и чем-то ещё. Сладковатым. Как будто в подвале долго лежали мокрые яблоки.

— Это просто погреб, — сказал Фриц. — Тут у всех погреба.

— У всех, — согласилась Ханна. — Но не у всех в стене дверь.

Курт присел на корточки. Под обрушенным кирпичом действительно виднелась железная полоса. Ржавая, с облупившейся краской. Он взялся за край и потянул. Кирпичи посыпались, подняв серую пыль. За ними оказалась дверь. Низкая, железная, с тяжёлой ручкой в виде кольца. В центре двери кто-то когда-то выбил цифру.

Семь.

— Вот чёрт, — тихо сказал Фриц.

Курт не ответил. Он смотрел на цифру и чувствовал, как у него немеют пальцы. Не от холода. Просто пальцы вдруг перестали слушаться. Во рту стало сухо, как будто он наелся мела.

— Надо сказать взрослым, — сказала Ханна.

— Кому? — Курт обернулся. — Твоему отцу? Он опять пьяный с обеда. Или моей матери? Она мне запретит выходить до Рождества.

— А если там что-то есть?

— Что там может быть? — Курт пожал плечами, хотя плечи не хотели пожиматься. — Старые банки. Уголь. Может, велосипед.

Он сказал это и сам не поверил. Дверь была слишком тяжёлой для погреба с банками. Слишком старой. И слишком тихой. Такие двери не ставят там, где хранят картошку.

Фриц уже достал из кармана спички. Он всегда носил их, хотя мать запрещала.

— Давай посмотрим, — сказал он.

— Нет, — сказала Ханна.

Курт посмотрел на неё. Ханна была в сером пальто с чужого плеча и в ботинках, которые ей были велики. Она единственная из них ещё помнила отца, который вернулся с фронта без руки и через год умер во сне. Она знала, как выглядят вещи, которые лучше не трогать.

— Мы только одним глазом, — сказал Курт.

Он сам не понял, зачем это сказал. Может, потому что Фриц уже смотрел на него с вызовом. Может, потому что дома было тихо, а здесь, у двери, тишина была другой. Она была густой, как вода в колодце.

Курт наклонился и прижался глазом к щели между дверью и косяком. Внутри было темно. Но не так, как в подвале у бабушки. Та темнота стояла на месте. Эта двигалась. Медленно, как будто кто-то ходил в глубине и задевал плечом стены.

Курт хотел отойти. Ноги не слушались. Он слышал, как за спиной Фриц чиркнул спичкой, как Ханна сказала «перестань», как где-то на площади загудел грузовик американцев. Все эти звуки были нормальными. А потом из-за двери донёсся другой.

Тихий. Ритмичный.

Будто кто-то водил ногтем по стеклу и считал.

Один. Два. Три.

Курт отшатнулся так резко, что упал на кирпичи. Ладонь ободралась, но он этого почти не заметил.

— Ты чего? — Фриц уставился на него.

— Там кто-то есть, — сказал Курт. Голос у него был чужой, тонкий. — Он считает.

Ханна побледнела. Фриц открыл рот, чтобы засмеяться, но не засмеялся. Он тоже услышал. Сначала далеко, потом ближе. Счёт не прекращался. Он шёл из-за двери, ровный, спокойный, как будто тот, кто считал, никуда не спешил.

Четыре. Пять. Шесть.

Курт поднялся. Колени дрожали. Он посмотрел на дверь, на цифру «семь», на ржавое кольцо ручки. И вдруг понял, что счёт остановился.

Наступила тишина.

А потом из-под двери потянуло холодом. Не сквозняком. Холодом изнутри, как из открытого рта.

— Уходим, — сказала Ханна.

На этот раз никто не спорил.

Они выбрались из провала, перепачкались в саже и пыли, и пошли к площади, не оглядываясь. Курт шёл первым. Он говорил себе, что завтра они сюда не вернутся. Что это просто старый подвал. Что в городе полно старых подвалов.

Но когда они уже подходили к церкви, он всё-таки обернулся.

Дверь в развалинах пекарни была далеко. Её почти не было видно за кирпичами. И всё же Курту показалось, что кто-то стоит в проёме и смотрит ему вслед.

Он моргнул.

Никого не было.

2. Учитель, который подписывал

Вернер Лоренц проснулся в половине шестого, как всегда, от того, что кто-то ходил по крыше.

Он лежал в постели, не открывая глаз, и слушал. Шаги были медленные, тяжёлые, будто по черепице тащили мешок с углём. Дом Лоренца стоял на Людвигштрассе, в двух кварталах от церкви, и крыша у него протекала с сорок пятого года. Мастер приходил только в июле, постучал по стропилам, сказал «гниль» и ушёл, не назвав цену. Вернер так и не понял, ждать его снова или нет.

Шаги стихли.

Он открыл глаза. Потолок был серый, с бурым пятном в углу. За окном моросил дождь, и водосточная труба на соседнем доме играла одну и ту же ноту — низкую, дребезжащую, как будто кто-то держал палец на струне.

Вернер сел на кровати. Ему было пятьдесят четыре года, и каждое утро тело напоминало об этом по-своему: колено щёлкало, поясница ныла, а левая рука, та, которой он в сорок четвёртом подписывал бумаги, иногда начинала дрожать без причины. Он сжал её в кулак, подержал, пока дрожь не утихла.

В доме было тихо. Слишком тихо, если учесть, что на крыше только что кто-то ходил. Вернер подошёл к окну, выглянул. Улица была пуста. Мокрая брусчатка блестела, как че-

шуя. У соседки фрау Хольц на подоконнике стояла банка с георгинами, и один цветок уже завял, почернел по краю.

Он оделся, вскипятил воду в жестяном чайнике, заварил цикорий. Настоящий кофе в Тифенбрунне пили только американцы и бургомистр. Вернер насыпал в чашку две ложки сахара, потом подумал и добавил третью. Сахар был из пайка, выдавали по карточкам, но он всё равно не мог себя заставить экономить. В сорок пятом он весил на двадцать килограммов меньше.

Школа находилась в старом здании на Кирхгассе, в десяти минутах ходьбы. По дороге Вернер всегда проходил мимо развалин пекарни. Раньше он не смотрел в ту сторону. В последние дни — смотрел. Ему казалось, что среди обрушенных кирпичей что-то изменилось. Не явно. Так, как меняется лицо человека, когда он перестаёт притворяться.

Сегодня у входа в развалины стояла детская шапка. Коричневая, вязаная, с помпоном. Вернер остановился. Он знал эту шапку. Она была на мальчике из его класса — Фрице Штайне. Мальчик был из тех, кто не сидит на месте, но шапку он не оставил бы просто так. Фриц носил её даже в сентябре, потому что она была отцовская, перешитая, и он ею гордился.

Вернер подошёл ближе. Шапка лежала на кирпиче, аккуратно, как будто её положили, а не потеряли. Ветер не мог её так положить. Ветер вообще не любит аккуратность.

Он наклонился, взял шапку. Изнутри она была влажной.

Пахла мокрой шерстью и чем-то ещё — сладковатым, как подгнившее яблоко. Вернер выпрямился, сунул шапку в карман пальто и пошёл дальше, стараясь не оглядываться.

В классе пахло мелом и мокрыми куртками. Двадцать три ученика — в Тифенбрунне после войны детей стало меньше, но школа всё равно была переполнена, потому что здание на Фридрихштрассе разбомбили. Вернер вошёл, повесил пальто на гвоздь, положил на стол журнал. Дети встали. Он кивнул, они сели.

Курт Хофман сидел на третьей парте у окна. Худой, бледный, с отцовской курткой на плечах, которая была ему велика. Он рисовал. Вернер видел это краем глаза, пока писал на доске дату: «16 сентября 1949 г.». Мелом, крупно. Потом обернулся и посмотрел на Курта.

— Хофман. Что у тебя там?

Курт вздрогнул, накрыл лист рукой. Но Вернер уже увидел. Дверь. Железная, низкая, с кольцом вместо ручки. И цифра в центре. Семь.

Вернер почувствовал, как у него холодеет затылок. Не резко, а медленно, будто кто-то приложил к шее мокрую тряпку. Он знал эту дверь. Он видел её один раз, в апреле сорок пятого, когда его вызвали в комендатуру для опознания документов. Тогда дверь была завалена кирпичом, и офицер американской армии, молодой парень с веснушками, сказал: «Не трогайте. Пусть остаётся как есть».

— Это что? — спросил Вернер. Голос прозвучал ровно,

но он сам услышал, как в нём что-то дрогнуло.

— Ничего, — сказал Курт. — Просто дверь.

— Почему семь?

— Не знаю. Просто нарисовал.

Вернер хотел сказать что-то ещё, но в класс вошла фрау Бергер, учительница музыки, и дети зашумели, доставая тетради. Вернер вернулся к доске, взял мел, но пальцы не слушались. Мел сломался. Он положил обломок на полку и провёл урок, не глядя на Курта. И весь урок думал о том, что цифра семь не просто так всплыла в детском рисунке. Она всплыла потому, что где-то под городом всё ещё была дверь. И кто-то её нашёл.

После уроков он задержал Курта.

— Хофман, подожди.

Мальчик остановился у двери, сжимая сумку. Вернер подошёл, присел, чтобы быть с ним на одном уровне. Он делал так, когда хотел, чтобы дети ему доверяли. Иногда это работало.

— Где ты видел эту дверь?

Курт молчал. Смотрел в пол. У него были отцовские глаза — серые, с прищуром, как будто он всегда немного сомневался в том, что ему говорят.

— В развалинах, — сказал он наконец. — На Кирхгассе. Мы с Фрицем и Ханной нашли.

— И что там?

— Ничего. Просто дверь. Заперта.

Вернер смотрел на него и понимал: мальчик врёт. Не зло. Просто боится сказать правду, потому что правда звучит как то, за что взрослые наказывают. Он сам так делал в детстве.

— Курт. Если ты что-то нашёл — что-то странное — скажи мне. Не бургомистру. Не полиции. Мне.

Мальчик поднял глаза. В них было что-то, чего Вернер не ожидал увидеть: не страх, а усталость. Как у взрослого, который слишком долго носит в себе чужую тайну.

— А вы не скажете маме?

— Не скажу.

Курт помолчал. Потом сказал тихо:

— Там кто-то считает.

И вышел, прежде чем Вернер успел ответить.

В учительской было пусто. Вернер сел за свой стол, достал из ящика жестяную коробку из-под чая. В коробке лежали бумаги, которые он не показывал никому с сорок пятого года. Он вытряхнул их на стол: несколько листов с машинописным текстом, фотография, сложенная вдвое, и узкая полоска картона с номером.

На фотографии был мальчик. Лет двенадцати, худой, с тёмными волосами и упрямым подбородком. На обороте было написано от руки: «Образец №7. Anlage 7. 12.10.44».

Вернер смотрел на фотографию, пока глаза не начали слезиться. Он не знал этого мальчика лично. Он знал только его номер. В сорок четвёртом он работал писарем в санитарной части в Бамберге. Ему приносили списки. Он их подписы-

вал. Иногда он спрашивал, что означает графа «эвакуация». Ему отвечали: «Не твоё дело». И он перестал спрашивать.

Он подписал семь таких списков. В каждом было по десять-двенадцать имён. Дети из разных городков, включая Тифенбрунн. Тогда он говорил себе, что это для их же блага. Что война, что хаос, что их куда-то перевозят, в безопасное место. Потом война кончилась, и он узнал, что никакого безопасного места не было. Был объект «Anlage 7». Были опыты. Был доктор Зайдель, который теперь лечил в Тифенбрунне грыжу и простуду, и бургомистр Краузе, который тогда был не бургомистром, а офицером СС, и который теперь каждое воскресенье стоял в церкви с молитвенником.

Вернер сложил бумаги обратно в коробку. Руки дрожали. Он сунул коробку в ящик и закрыл на ключ.

В пивной «У старого моста» было тепло и пахло кислой капустой. Вернер заказал пиво и сел в углу, спиной к стене. Он всегда садился спиной к стене с сорок пятого года. Привычка, от которой он не мог избавиться.

Бургомистр Краузе вошёл через десять минут. Он был в сером пальто и шляпе, которую снял только у стойки. Увидев Вернера, он улыбнулся и подошёл, хотя Вернер не приглашал его за стол.

— Лоренц. Давно не виделись. Как школа?

— Работает, — сказал Вернер.

Краузе сел напротив. Ему было около пятидесяти, но он выглядел старше: лицо обветренное, под глазами мешки, и в

углах рта — две глубокие складки, как у человека, который много лет подряд что-то сдерживал.

— Слышал, у вас в классе мальчик рисует странные вещи, — сказал Краузе, не глядя на него. — Хофман. Сын Греты Хофман.

Вернер поставил кружку.

— Кто вам сказал?

— Город маленький. Люди говорят.

Краузе отпил пива. Потом посмотрел на Вернера, и в его глазах не было улыбки.

— Вернер. Я знаю, что ты был там. В сорок четвёртом. Я знаю, что ты подписывал бумаги. И я знаю, что ты не хочешь об этом вспоминать. Я тоже не хочу. Но есть вещи, которые лучше оставить в земле. Понимаешь?

— Это вы замуровали вход?

Краузе не ответил сразу. Он поставил кружку и вытер губы салфеткой. Потом сказал тихо:

— Это сделали американцы. В сорок пятом. Я только показал им, где.

— А дети?

— Какие дети?

— В списках были дети. Семь имён из Тифенбрунна. Один из них — Матиас Брандт.

Краузе смотрел на него долго. Потом наклонился через стол и сказал почти шёпотом:

— Если ты начнёшь ворошить это сейчас, через четыре

года после войны, тебя никто не поддержит. Ни комиссия по денацификации, ни американцы, ни церковь. Ты останешься один. И тогда, — он сделал паузу, — тогда тебе придётся объяснять не только бумаги. Тебе придётся объяснять, почему ты молчал. Все эти годы.

Он встал, надел шляпу, кивнул и вышел.

Вернер сидел, глядя на своё пиво. Он не стал пить. Он думал о том, что Краузе прав. Он думал о том, что если он начнёт говорить, то первым, кого назовут виновным, будет он сам. А потом он подумал о Курте Хофмане, который рисует дверь с цифрой семь, и о Фрице Штайне, чья шапка лежит у него в кармане.

Он достал шапку. Помпон был мокрый и грязный. Внутри, на подкладке, кто-то вывел химическим карандашом две буквы: «F. S.». И под ними, мелко, криво: «Один».

Вернер сжал шапку в руке. Он не помнил, когда вышел из пивной. Он не помнил, как дошёл до дома. Он помнил только, что когда открыл дверь, в доме было тихо, и эта тишина была неправильной.

Он зажёг лампу в гостиной. Сел в кресло. Шапка лежала на коленях. За окном шёл дождь.

И тогда он уснул. Просто закрыл глаза на минуту — и уснул.

Ему приснился коридор. Длинный, кирпичный, с низким потолком. В конце — железная дверь с цифрой семь. Он шёл к ней, хотя не хотел. Он знал, что за дверью кто-то есть. И

этот кто-то ждал его.

Он остановился у двери. Приложил ладонь к металлу. Металл был тёплый.

И из-за двери донёсся голос. Детский. Спокойный.

— Один.

Вернер проснулся от того, что кто-то стучал в дверь. Он вскочил, уронил шапку, посмотрел на часы. Половина двенадцатого. Он проспал почти два часа.

Стук повторился. Ровный, вежливый.

Вернер подошёл к двери, посмотрел в глазок. На крыльце стояла Ханна Брандт. В пальто, с непокрытой головой, мокрая от дождя. Она смотрела прямо в глазок, как будто знала, что он там.

Он открыл.

— Фрау... Ханна? Что случилось?

Девочка подняла на него глаза. У неё были глаза её матери, но сейчас в них было что-то чужое. Что-то, что смотрело сквозь него.

— Фриц не вернулся домой, — сказала она. — Он пошёл к двери. И не вернулся.

Вернер почувствовал, как шапка в его кармане становится тяжёлой, как камень.

— Заходи, — сказал он. — Быстро.

Она вошла. Он закрыл дверь.

И в этот момент где-то в глубине дома, под полом, очень тихо, кто-то начал считать.

Один.

Два.

Три.

Вернер замер.

Ханна тоже услышала. Она повернулась к нему, и в её глазах не было страха. Только усталость.

— Они уже считают, — сказала она. — Они всегда считают. Просто мы не всегда слышим.

3. Находка

На следующее утро дождь кончился, и Тифенбрунн стал похож на фотографию, которую слишком долго держали на солнце: всё бледное, выцветшее, с белой каймой тумана по краям.

Курт пришёл в школу первым. Он не спал почти всю ночь. Лежал в постели, слушал, как мать ходит по кухне, как скрипят половицы, как за стеной, у соседей, кто-то кашляет. Обычные звуки. Но между ними, в промежутках, был другой. Тихий. Ритмичный. Как будто кто-то водил ногтем по стеклу и считал.

Он не сказал матери. Он вообще давно ничего ей не рассказывал. После того как пришло письмо о том, что отец пропал без вести под Сталинградом, мать стала говорить шёпотом. Сначала Курт думал, что она боится разбудить соседей. Потом понял: она боится, что её услышит кто-то другой. Кто-то, кто забрал отца.

В классе Курт сел на своё место у окна и достал тетрадь. Он хотел нарисовать что-нибудь другое — церковь, площадь, грузовик американцев, — но рука сама вывела прямоугольник. Железный. С кольцом. И цифру в центре.

Семь.

Он зачеркнул её. Нарисовал заново. Зачеркнул. На третий раз цифра получилась кривой, как будто её вывели не мелом,

а чем-то жидким, что не хотело ложиться ровно.

На большой перемене к нему подошла Ханна. Она была бледнее обычного, под глазами залегли тени, и пальто на ней было застёгнуто не на ту пуговицу.

— Фриц вчера не пришёл домой, — сказала она.

Курт перестал жевать бутерброд с маргарином. Маргарин был из американского пайка, пах маслом и мылом одновременно.

— Как не пришёл?

— Он сказал матери, что идёт к тебе. Но к тебе он не пошёл, да?

Курт отрицательно покачал головой.

Ханна посмотрела на него долгим взглядом. Потом сказала тихо:

— Он пошёл к двери.

— Откуда ты знаешь?

— Потому что я слышала, как он считал. Ночью. Я думала, это мне снится. А утром его не было.

Курт отложил бутерброд. Есть расхотелось. Он посмотрел на окно, за которым дымились крыши, на площадь, где старик Рихтер разгружал картошку из телеги, на всё это обычное, серое, живое. И вдруг понял, что за ночь мир стал другим. Не сильно. Просто сдвинулся на палец в сторону. И теперь всё стояло немного криво, как картина на стене.

— Пойдём после уроков, — сказал он. — Найдём его.

— А если его там нет?

— Тогда найдём то, что его забрало.

Ханна ничего не ответила. Но когда прозвенел звонок, она уже стояла рядом с ним у двери, с застёгнутым на все пуговицы пальто, готовая идти.

Развалины пекарни днём выглядели почти безобидно. Кирпичи, обрушенные балки, куст бузины, проросший между камнями. Воробьи чирикали на уцелевшей стене. Где-то за домами лаяла собака.

Но Курт всё равно остановился в десяти шагах и не сразу решился подойти. Было в этом месте что-то, что не любило взглядов. Как будто ты смотришь на человека, который делает вид, что не замечает тебя, но на самом деле только и ждёт, когда ты отвернёшься.

— Я первая не пойду, — сказала Ханна.

— Никто не говорит, что ты первая.

— Ты тоже боишься.

Курт не стал спорить. Бояться было нормально. Он боялся с тех пор, как себя помнил: сначала темноты, потом войны, потом того, что мать может не проснуться утром. Страх был как погода. Ты не мог его отменить. Ты мог только надеть пальто и выйти.

Они подошли к провалу. Кирпичи, которые они вчера разбросали, лежали на месте. Дверь была видна. Железная, ржавая, с кольцом и цифрой семь.

Курт посмотрел на неё и почувствовал, как у него снова немеют пальцы. То же самое, что и вчера. Словно тело знало

что-то, чего не знал он.

— Смотри, — сказала Ханна. — Там что-то есть.

Она показывала на землю у двери. Там, среди битого кирпича и мокрой листвы, что-то блестело. Металлическое. Маленькое.

Курт присел на корточки. Осторожно, как будто это могло укусить, достал. Это был жетон. Круглый, размером с монету, из потемневшего металла. На одной стороне — орёл со свастикой, стёртый почти до гладкости. На другой — цифра.

Семь.

Курт сжал жетон в кулаке. Металл был холодный. Не просто холодный — ледяной, как будто его только что вынули из ведра с водой.

— Это Фрица? — спросила Ханна.

— Нет. Фриц не носил жетонов. Это... — Курт не знал, что это. Он вообще не понимал, что это такое. Но в кармане отцовской куртки, в самом дальнем углу, у него было место, куда он прятал вещи, о которых не хотел говорить матери. Он положил жетон туда.

— Там ещё что-то, — сказала Ханна.

Под кирпичом у самой двери лежал клочок бумаги. Не бумага — фотография. Маленькая, помятая, с обгоревшим краем. Курт поднял её, разгладил на колене.

На фотографии был мальчик. Лет двенадцати. Худой, с тёмными волосами и упрямым подбородком. Он смотрел прямо в камеру, сжав губы. На груди у него была табличка

с номером.

Семь.

Ханна стояла рядом. Она молчала долго. Потом сказала очень тихо, почти беззвучно:

— Это Матиас.

Курт повернул голову. У Ханны было такое лицо, какого он никогда у неё не видел. Не страх. Не горе. Что-то хуже. Как будто внутри неё что-то сломалось, и она это почувствовала — не сразу, а с задержкой, как чувствуешь боль только через секунду после удара.

— Ты уверена?

— У него шрам на левой брови. Видишь? — Она показала пальцем, но не дотронулась. — Он упал с велосипеда, когда мне было четыре. Мама прикладывала к брови мокрую тряпку. Я помню.

Курт посмотрел на фотографию снова. Шрам был. Маленький, белый, в форме полумесяца. Он видел его только сейчас, когда Ханна сказала.

— Ему сказали, что Матиас умер от пневмонии, — сказала Ханна. — Маме пришло письмо. В сорок пятом. Бумажка с печатью. Она её сожгла в печке, но я видела, что там было написано.

— Что?

— «Эвакуирован. Anlage 7». — Ханна произнесла это слово так, как произносят чужое имя. — Я не знала, что это значит. Теперь знаю.

Курт хотел сказать что-то. Что-то взрослое, успокаивающее, как говорят в кино. Но ничего не приходило. Он просто стоял и держал фотографию, и чувствовал, как холод от жетона в кармане расползается по ноге, по животу, по груди.

И тогда дверь щёлкнула.

Не громко. Тихий металлический звук, как будто внутри механизма что-то повернулось. Кольцо ручки дёрнулось.

Курт отшатнулся. Ханна схватила его за рукав. Они оба смотрели на дверь.

Ручка повернулась. Медленно, плавно, до упора. Как будто кто-то с другой стороны взялся за неё и потянул. Дверь не открылась — она была слишком тяжёлая, слишком старая, — но она сдвинулась. На палец. На два. Из щели потянуло холодом и тем самым сладковатым запахом, мокрых яблок и чего-то ещё, что Курт не мог назвать.

А потом из-за двери донёсся голос.

Детский. Спокойный. Знакомый.

— Фриц? — прошептала Ханна.

Голос за дверью сказал:

— Один.

И замолчал.

Курт схватил Ханну за руку и побежал. Он не помнил, как они выбрались из провала, как перелезли через кирпичи, как добежали до площади. Он помнил только, что Ханна не плакала. Она бежала рядом, крепко сжимая его руку, и её пальцы были такими же холодными, как жетон в его кармане.

Они остановились у церкви. Колокол как раз отбивал полдень. Люди шли по своим делам: женщина с сумкой картошки, старик с тележкой, двое мальчишек гнали обруч по брусчатке. Обычный день. Обычный город.

— Надо сказать взрослым, — сказал Курт. — Правда. Теперь надо.

Ханна посмотрела на него. Её лицо было мокрым — от дождя или от слёз, Курт не понял.

— Ты знаешь, что они скажут? — спросила она.

— Что?

— Они скажут, что мы придумали. Что мы дети и ничего не понимаем. Что Матиас умер от пневмонии, а Фриц сбежал из дома, потому что его отец пьёт. — Она вытерла лицо рукавом. — Они уже так говорили. Когда я спрашивала про Матиаса. Мама говорила: «Не вороши прошлое». Дядя Отто говорил: «Война есть война». Пастор говорил: «Бог дал, Бог взял».

— Но мы же видели.

— Мы видели. А они не видели. И не хотят.

Курт молчал. Он смотрел на площадь, на людей, которые ходили мимо и не замечали ничего. И вдруг понял, что Ханна права. Взрослые не потому молчат, что не знают. Они молчат потому, что знают. И знание это такое, что лучше его не трогать.

— Тогда мы сами, — сказал он.

— Как?

Курт достал из кармана жетон. Посмотрел на цифру. Потом на церковь, на её тёмные окна, на крест над входом.

— Учитель Лоренц, — сказал он. — Он что-то знает. Я видел его лицо, когда он смотрел на мой рисунок. Он побледнел.

— Взрослые всегда бледнеют, когда им напоминают про войну.

— Этот побледнел по-другому.

Ханна помолчала. Потом кивнула.

Они пошли к дому Лоренца. По дороге Курт всё время оглядывался. Ему казалось, что кто-то идёт за ними. Не близко. На расстоянии квартала. Может быть, в тени домов, может быть, за спинами прохожих. Но каждый раз, когда он оборачивался, там никого не было.

Только один раз, на углу Людвигштрассе, он увидел мальчика. Худого, в серой куртке, с тёмными волосами и упрямым подбородком. Мальчик стоял у водосточной трубы и смотрел на него.

Курт моргнул.

Мальчика не было.

Вечером, когда Курт вернулся домой, мать сидела на кухне и чистила картошку. Она не подняла головы.

— Ты опоздал, — сказала она шёпотом.

— Мы с Ханной искали Фрица.

Нож в её руках остановился. На секунду. Потом снова начал двигаться.

— Его найдут, — сказала она. — Полиция найдёт.

— Мама.

Она подняла глаза. У неё были усталые глаза, серые, как у Курта. И в них было что-то, чего он раньше не замечал. Не страх. Ожидание.

— Что? — спросила она.

Курт хотел рассказать про дверь. Про жетон. Про фотографию. Про голос за дверью, который сказал «один». Он открыл рот.

И в этот момент под полом кухни, очень тихо, кто-то начал считать.

Один.

Два.

Мать побледнела. Нож выпал из её рук и стукнул по столу.

— Ты слышишь? — прошептала она.

Курт кивнул.

Три.

Четыре.

Мать встала. Подошла к нему. Обняла так крепко, что у него перехватило дыхание. Она пахла мылом, картошкой и чем-то ещё, старым, знакомым, домашним.

— Не считай, — сказала она ему на ухо. — Что бы ты ни услышал. Никогда не считай вслух. Обещай мне.

— Почему?

— Обещай.

Пять.

Шесть.

Курт закрыл глаза. Он чувствовал, как мать дрожит. И он чувствовал, как в кармане отцовской куртки жетон с цифрой семь становится тёплым. Не холодным. Тёплым. Как будто его только что держали в руке.

Семь.

Счёт остановился.

Мать отпустила его. Отступила на шаг. Посмотрела на него, и в её глазах было что-то, чего он не мог прочитать.

— Ложись спать, — сказала она. — Завтра всё будет по-другому.

Курт пошёл к себе. Он лёг в постель, не раздеваясь. Смотрел в потолок, на бурое пятно в углу, на тени, которые двигались от свечи.

И перед тем как уснуть, он вытащил из кармана жетон и фотографию. Положил их под подушку. Не потому, что хотел их сохранить. Потому что боялся, что если он их отпустит, они найдут его сами.

Он закрыл глаза.

И где-то далеко, под городом, под домами, под церковью, под старыми пивными погребами, кто-то снова начал считать.

Один.

Курт не стал слушать дальше. Он повернулся на бок, накрыл голову подушкой и стал думать об отце. Об отце, который не вернулся. Об отце, который, может быть, тоже где-

то считает.

Он уснул.

А жетон под подушкой был тёплым. Как живой.

4. Собака и доктор

Вернер Лоренц не спал всю ночь.

Он сидел в кресле в гостиной, с шапкой Фрица на коленях, и слушал. Дом был старый, деревянный, с толстыми стенами, и в нём всегда что-то скрипело. Но этой ночью скрипы были другими. Они шли не от ветра и не от дождя. Они шли снизу.

Под полом гостиной, в подвале, где Вернер держал уголь и старые банки, кто-то ходил. Медленно. Тяжело. Шаг, пауза, шаг. Как будто человек — или то, что ходило, — прислушивался между шагами.

Вернер не пошёл вниз. Он сидел в кресле, сжимал шапку и смотрел на дверь подвала. За всё время, что он жил в этом доме, он спускался туда раз двадцать, не больше. Он не любил подвал. Там пахло сыростью и землёй, и там было темно даже днём.

К четырём утра шаги стихли. Вернер дождался рассвета, потом встал, надел пальто и вышел. Он не стал проверять подвал. Он знал, что если спустится, то найдёт что-нибудь, чего не хочет находить.

На улице было холодно и ясно. Дождь кончился, лужи подёрнулись тонкой коркой льда. Вернер шёл к дому Зайделя и старался не думать о том, что скажет. Он не знал, что скажет. Он вообще не знал, зачем идёт. Может быть, потому что доктор Зайдель был единственным человеком в Тифенбрун-

не, кто мог понять. Может быть, потому что Вернеру надоело молчать.

Дом Зайделя стоял на углу Банхофштрассе, приземистый, с красной черепичной крышей и табличкой у входа: «Д-р Э. Зайдель. Общая практика». Вернер постучал в дверь в семь утра. Зайдель открыл сразу, как будто стоял за дверью и ждал. Он был в халате, седой, с мятым лицом и красными глазами. Он тоже не спал.

— Лоренц? — сказал он. — Что случилось?

— Нам надо поговорить.

Зайдель посмотрел на него. Потом на улицу, быстро, вправо и влево. Потом отступил в сторону.

— Заходите.

Кухня у Зайделя была маленькая, чистая, с клеёнкой на столе и занавесками в мелкий цветочек. На плите стоял чайник, из носика шёл пар. Зайдель налил две чашки, поставил на стол. Не предложил сахар. Просто сел напротив и стал смотреть.

— Вы знаете, зачем я пришёл, — сказал Вернер.

— Догадываюсь.

— Вчера мой ученик нарисовал дверь. С цифрой семь.

Зайдель не изменился в лице. Только чашка в его руке дрогнула. Он поставил её на стол.

— Дети рисуют много всего.

— Не эту дверь.

Вернер достал из кармана шапку Фрица. Положил на кле-

ёнку. Зайдель посмотрел на неё, потом на Вернера, и в его глазах что-то сдвинулось. Как будто он увидел то, чего боялся много лет.

— Где вы это взяли?

— У развалин пекарни. Вчера утром. Шапка лежала на кирпичах, как будто её положили. А мальчик, который её носил, пропал.

Зайдель закрыл глаза. Держал их закрытыми долго, так долго, что Вернер начал думать, что он уснул. Потом открыл и сказал:

— Вернер. Вы помните, что было в сорок четвёртом?

— Помню.

— Нет. Вы помните, что вы подписывали?

Вернер молчал.

— Я тоже подписывал, — сказал Зайдель. — Только я не просто подписывал. Я там был. Внизу.

Он протянул руку и положил её на стол ладонью вверх. На ладони, от большого пальца к мизинцу, шёл шрам. Толстый, белый, неровный, как след от верёвки.

— Это в сорок пятом, — сказал Зайдель. — Когда американцы пришли, я спустился туда с ними. Я должен был показать, где что находится. Мы открыли дверь номер семь. И оттуда... — он замолчал. Посмотрел на чайник. Потом снова на Вернера. — Оттуда вышел холод. Не сквозняк. Холод, как из могилы. И запах. Вы чувствовали запах?

— Сладковатый, — сказал Вернер. — Как мокрые яблоки.

— Как формалин и гниль, — поправил Зайдель. — Сладковатый — это когда уже поздно.

Он сжал руку в кулак.

— Я взялся за ручку двери, чтобы закрыть её. И что-то схватило меня за ладонь. Изнутри. Я не видел что. Только почувствовал. Как будто рука, но не человеческая. Слишком холодная. Слишком много пальцев. — Он разжал кулак, посмотрел на шрам. — Американцы не поверили. Сказали, я порезался о металл. Заварили дверь и ушли. А я... я вернулся домой. И с тех пор каждую ночь слушаю, как под полом кто-то ходит.

Вернер почувствовал, как у него пересохло во рту.

— Что там было? Внизу?

— Вы знаете, что там было.

— Я хочу услышать от вас.

Зайдель налил себе ещё чаю. Отпил. Поставил чашку.

— Это называлось «Anlage 7», — сказал он. — Объект семь. Официально — «медицинская станция для эвакуации детей». Неофициально — эксперимент. Детей помещали в изоляцию. Не кормили. Не давали спать. И заставляли считать. Вслух. До семи. Снова и снова. Пока они не переставали быть собой.

— Зачем?

— Затем, что наверху, в Берлине, считали, что человек — это просто набор привычек и слов. Если убрать привычки и слова, останется пустое место. И в это пустое место можно

вложить что-то другое. Что-то, что будет слушать приказы. — Зайдель усмехнулся, но в усмешке не было веселья. — Они хотели сделать идеального солдата. Пустого. Послушного. Который не боится и не думает.

— И у них получилось?

— У них получилось что-то. Но не то, что они хотели. — Зайдель посмотрел на Вернера. — Дети умирали. Один за другим. От истощения, от воспаления лёгких, от того, что мозг не выдерживал. Но был один мальчик. Седьмой. Он не умер. Он перестал быть собой, но не умер. И тогда... — он замолчал.

— Тогда что?

— Тогда то, что было внизу, проснулось. Не в мальчике. В стенах. В воздухе. В самой земле. Оно всегда там было, я думаю. Нацисты просто нашли способ его разбудить. А мальчик... мальчик стал его голосом. Его лицом. Тем, что оно показывает людям.

Вернер смотрел на Зайделя. Тот сидел, сгорбившись, с чашкой в руках, и был похож на старика, который нёс в себе камень много лет и только сейчас решился его положить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.